

*«Мужик понимал, какая Россия была великая держава, а мы, интеллигенты, плохо понимали. К государству мы подходили не жизненно, книжно».*



АРИАДНА  
ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС  
НА ПУТЯХ  
К СВОБОДЕ

ИСТОРИЯ АКТИВИСТКИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ:  
ОТ САМОДЕРЖАВИЯ  
ДО РЕВОЛЮЦИИ

# Ариадна Владимировна Тыркова- Вильямс

## На путях к свободе

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=72574567](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72574567)*

*На путях к свободе:  
ISBN 9785006311947*

### Аннотация

Ариадна Тыркова-Вильямс – одна из немногих женщин-политиков, принимавших активное участие в демократических преобразованиях в России на рубеже XIX–XX веков. Она выступала за создание в стране конституционного строя и сыграла заметную роль в организации и деятельности первой Государственной думы в России, была одной из основательниц и активных участниц Конституционно-демократической партии (кадетов).

Пережив революцию, гражданскую войну, эмиграцию, она сохранила удивительную честность и внутреннюю цельность. Лишения, разочарования и отчаяние не сломили ее. Судьба свела ее с выдающимися современниками, внесшими вклад в судьбу России: она лично знала В. И. Ленина и Надежду Крупскую, общалась с Иваном Буниным, Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским, Александром Kupриным, Петром Струве, Павлом Милюковым.

Книга – честное свидетельство эпохи, наполненное личной болью за судьбу Родины и надеждой на ее возрождение, написанное человеком большой души и глубокого гражданского чувства.

*Мужик понимал, какая Россия была великая держава, а мы, интеллигенты, плохо понимали. К государству мы подходили не жизненно, книжно. Религию не только марксисты считали пережитком вредных суеверий, опиумом для народа. Так называемые охранительные, правые течения русской мысли были ближе к народному мировоззрению, в них проявлялось понимание его. Их с народом объединяли бытовые традиции, православие и самодержавие, как раз то, от чего интеллигенция яростно отрецивалась. Она от церкви отшатнулась, исподтишка ее высмеивала, опорачивала.*

## **Особенности**

Уникальные фотографии из личного архива.

*Оба лагеря, правительственный и оппозиционный, были одурманены, ослеплены предвзятыми идеями и предрассудками. Слепоте правительства отвечала слепота оппозиции. Самодержавие не понимало общественного стремления к реформам. Левые не понимали психологии самодержавия, его государственной жизненной сущности, его исторических заслуг.*

# Содержание

Вступление	9
Предисловие	13
Введение[3]	17
Глава 1	22
Глава 2	42
Конец ознакомительного фрагмента.	64

# Ариадна Тыркова-Вильямс

## На путях к свободе

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436–ФЗ от 29.12.2010 г.)



В книге использованы фотографии из семейного архива Екатерины Лихварь.

Главный редактор: *Сергей Турко*

Руководитель проекта: *Анна Деркач*

Дизайн обложки и макета: *Юрий Буга*

Корректоры: *Мария Смирнова, Елена Биткова*

Компьютерная верстка: *Павел Кондратович*

*Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, за-*

*прещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.*

*Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.*

© Ариадна Тыркова-Вильямс, 1952

© Аркадий А. Борман, наследник автора

© Екатерина Лихварь, наследница автора, 2025

© ООО «Альпина Паблицер», 2025



АРИАДНА ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС

# НА ПУТЯХ К СВОБОДЕ



# Вступление

*...только в свете прошлого мы, ... поколение, которому пришлось строить настоящее и стараться формировать будущее, можем понять себя или надеяться, что нас поймут потомки.*

**ВЕРА БРИТТЕН.** *Заветы юности*

Маленькой девочкой в середине 1950-х годов я жила в Вашингтоне с моей прабабушкой, Ариадной Владимировной Тырковой-Вильямс, моими дедушкой и бабушкой, ее сыном, Аркадием Альфредовичем Борманом, и его женой, Тамарой Викторовной (урожд. Дроздовой). Я помню, как с прабабушкой часто гуляла по Зоологическому саду и мы всегда останавливались, чтобы полюбоваться ее любимыми цветами – ландышами. Мне казалось, она любила их потому, что они напоминали ей о Вергеже, семейном поместье Тырковых на реке Волхов. Я также помню, как часто сидела у нее на коленях, когда мы за ее письменным столом играли с маленькими игрушечными фигурками, которые до сих пор у меня сохранились.

Для меня Ариадна Владимировна была доброй любящей «грэнни». Благодаря моему дедушке я со временем начала понимать ее место в российской истории. Он часто говорил мне: «У тебя была замечательная прабабушка». В предисловии к своей книге о матери он написал: «По разнообразию

своих интересов и проявлениям своей личности моя мать была совершенно исключительным человеком»<sup>1</sup>. Он признавал важность ее общественной и журналистской деятельности, значимость ее вклада в российскую историю и необходимость сохранить это все как ее наследие и живую о ней память.

Дедушка Аркадий для меня был ближайшей живой связью с моей семьей и нашим русским историческим прошлым. Он сделал все возможное, чтобы рассказать мне о жизни нашей семьи в России до революции и в последующие годы эмиграции. Устно и письменно, через множество личных историй и старых фотографий он передал мне знания о роли моей прабабушки в российской истории конца XIX и начала XX века и ее журналистской работе, которую она посвятила борьбе за свободу своей русской родины и которую она продолжала вплоть до своей смерти в 1962 году. Кроме того, он написал свои личные воспоминания, предназначенные исключительно для меня, как своей единственной наследницы. Он подключил меня к делу сохранения больших объемов семейных архивов до того времени, когда стало возможным их безопасное возвращение в Россию. Ряд материалов и писем дедушка передал Бахметевскому архиву русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета в Нью-Йорке, где было организовано со-

---

<sup>1</sup> Борман А. А. А. В. Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына. – Лувэн; Вашингтон, 1964. С. 5.

брание рукописей Ариадны Владимировны. Я ему благодарна за то, что он привил мне любовь к этому наследию.

«На путях к свободе» – это вторая часть воспоминаний Ариадны Тырковой-Вильямс, опубликованных под названием «То, чего больше не будет»<sup>2</sup>. По словам автора, обе части составляют продолжающийся рассказ о виденном и слышанном. Первая часть – это семейная хроника, а вторая часть – это более всего политическое повествование о борьбе за свободу и народное представительство – эпоха Государственной думы. Или семейная хроника, или политическое повествование, обе части составляют собой целостный набор картин, иллюстрирующих период исторического преобразования.

Выражаю признательность Государственному архиву Российской Федерации (ГА РФ) за помощь в завершении миссии моего дедушки по возвращению рукописей Ариадны Тырковой-Вильямс в Россию, где ее труды и наследие будут сохранены и защищены. И также выражаю мою искреннюю благодарность Ларисе Александровне Роговой, Сергею Владимировичу Мироненко, Алексею Алексеевичу Литвину и другим сотрудникам ГА РФ, без усталости трудившимся над организацией Архивного собрания Ариадны Тырковой-Вильямс. Благодарю Ирину Гусинскую, Алину Книжник, Анну Деркач и всех других сотрудников издательства «Альпина Паблишер» за информацию о растущем интересе современных российских читателей к тем временам, когда

---

<sup>2</sup> Тыркова-Вильямс А. То, чего больше не будет. – Париж: Возрождение, 1954.

жила Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс. Их благодарю также за интерес, инициативу и сотрудничество по переизданию «На путях к свободе». Наконец, благодарю моего мужа, прот. Василия Лихваря, за поддержку и помощь в осуществлении этого проекта.

*ЕКАТЕРИНА ЛИХВАРЬ*

*Февраль 2025 г.*

*Камберленд, Род-Айленд*

# Предисловие

## Самостоянье Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс

*Теперь я знаю, что мир был бы несравненно счастливее, если бы хорошие русские люди меньше поддавались заморским ученым и больше вдумывались бы в прошлое и настоящее своего народа.*

**А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС**

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ), крупнейшем федеральном архиве России, в фондах которого среди более чем 7 млн единиц хранения, есть абсолютная «архивная жемчужина» – документы личного архива члена кадетской партии с 1906 года Ариадны Владимировны Тырковой-Вильямс (13 [25] ноября 1869 года, Санкт-Петербург – 12 января 1962 года, Вашингтон). Ариадна Владимировна прожила долгую жизнь – без малого век. Как незаурядная личность она стала известной и популярной журналисткой, видной общественной деятельницей, известной не только в политических кругах Петербурга.

В основе ее мировоззрения лежала идея государственности, планомерную работу по созданию новой России она считала приоритетной для партии. Тыркова призывала идти

в гущу жизни, прорасти корнями в широких общественных слоях. В качестве первоочередной задачи на заседаниях ЦК она выдвигала задачу политического воспитания масс, расширения социальной опоры партии, включения в программу партии пункта о предоставлении женщинам избирательных прав.

А. В. Тыркова обладала несомненным литературным даром. Ее перу принадлежат рассказы, эссе, повести, романы («Жизненный путь», «Ночью», «Добыча»), печатавшиеся в известных и популярных журналах. Она – автор одной из наиболее полных биографий А. С. Пушкина, над которой трудилась более 30 лет.

Тыркова категорически отвергла большевистский режим, участвовала в выпуске газеты «Борьба», призывавшей к активному сопротивлению советской власти, выступала на митингах. После разгрома Учредительного собрания покинула Россию.

Архив А. В. Тырковой в 2008 году передали в ГА РФ ее потомки: правнучка Екатерина Куртовна Лихварь и ее супруг отец Василий, настоятель церкви в Род-Айленде, что на границе с Канадой. Сама мысль о возвращении уникальных документов возникла не спонтанно. Когда семья Екатерины и отца Василия переезжала в новый дом и паковались вещи, был обнаружен конверт с надписью, сделанной рукой ее сына Аркадия Альфредовича Бормана: «Вернуть в Россию, когда она станет свободной».

Это завещание, ждавшее своего часа многие годы, было исполнено. В Россию вернулись более 12 000 документов, все они сегодня доступны для исследований в читальном зале ГА РФ (Документы Тырковой-Вильямс А. В. за 1874–1972 годы. Фонд № 10230). Переломный для истории России 1917 год, активным участником событий которого была А. В. Тыркова, нашел отражение в ее записях, дневниках, обширной переписке с Н. Бердяевым и В. Набоковым, П. Милюковым, А. Деникиным и В. Врангелем, А. Ремизовым и многими другими выдающимися политическими и общественными деятелями, представителями науки и культуры.

В фонде хранятся не только документы самой А. В. Тырковой-Вильямс и ее сына Аркадия Альфредовича Бормана (за 1874–1974 годы), но и значительный корпус изобразительных материалов за 1814, 1889, 1900–1962, 2005, 2008 годы (фотографии, репродукции и др.) и предметы за 1900–1956 годы (пишущие машинки с русским и английским шрифтами времен жизни вне России; чемодан, видевший много разных дорог; магнитофонная катушка с записью выступления А. В. Тырковой-Вильямс в Великобритании в 1926 году).

Переиздание книги «На путях к свободе» возвращает читателя к творчеству выдающегося деятеля русского освободительного движения А. В. Тырковой, внимательное изучение документального наследия которой – женщины невероятно смелой, последовательной в своих поступках и предан-

ной своему Отечеству (как бы далеко она от него ни находилась) – позволяет составить более точный, достоверный ее «жизни портрет», к которому вполне можно предпослать строки столь любимого ею А. С. Пушкина:

Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.  
(На них основано от века,  
По воле Бога самого,  
Самостоянье человека,  
Залог величия его.)

*Директор Государственного архива Российской Федерации*  
*ЛАРИСА РОГОВАЯ*

*Научный руководитель Государственного архива Российской Федерации*  
*СЕРГЕЙ МИРОНЕНКО*

# Введение<sup>3</sup>

Мое детство и юность совпали с той переходной эпохой, когда Россия перестраивалась с крепостного на свободный труд. Мой отец был крупным и безденежным новгородским помещиком. Он кончил Училище правоведения, был мировым посредником первого призыва, мировым судьей на Охте, где я и родилась в 1869 году, 13 ноября. Потом он перешел в Министерство финансов. Зимой мы жили в Петербурге, летом на Вергеже, в родовом тырковском имении на Волхове. Вергежа для моих родителей, для всех нас семерых братьев и сестер, для наших детей была радостью и опорой. Через нее были мы глубоко связаны с деревенской, крестьянской, со всей русской жизнью. И с природой. Обо всем этом я писала в воспоминаниях о моем детстве и молодости. Они печатаются в парижском журнале «Возрождение». В настоящей книге, перед тем как рассказать об Освободительном движении, свидетельницей и участницей которого я была, я скажу только несколько слов, откуда пришло, как зародилось во мне то политическое беспокойство, которое понудило меня присоединиться к бурной борьбе с исторической властью. Огромное, любовное влияние имела на нас, детей, моя мать. Она была убежденной шестидесятницей. Ли-

---

<sup>3</sup> Лексические и стилистические особенности речи автора полностью сохранены.

беральные взгляды она почерпнула из христианского учения и из книг. Могла их перенять и от своего отца. Он был офицер, служил в Аракчеевских военных поселениях, которые тянулись напротив нас по правому берегу Волхова. Вергежа была на левом берегу. Судя по рассказам матери, не только мой дед, но и некоторые его сослуживцы были люди просвещенные, гуманные. Деда я не знала, он умер до моего рождения, но косвенное влияние на меня оказал. В амбаре, на пыльном чердаке, в ящике с его книгами я нашла объемистый том в кожаном, с золотым тиснением переплете. Это была иллюстрированная «История жирондистов» Ламартина, чуть ли не первое парижское издание. Я ее несколько раз перечитала. Эти рыцари свободы оставили глубокий след, заразили меня своим человеколюбивым безумием. Мне, конечно, и в голову не приходило, что придет время, когда я буду окружена такими паладинами свободы, буду делить их мечты. И их безумие.

Мне было тогда лет тринадцать. Не только Ламартин, но и другие книги, разговоры, события, арест и ссылка в Сибирь моего брата Аркадия, все это толкало – не скажу мысли, какие в этом возрасте мысли? – а чувства в определенную сторону. Еще более глубокое, чем от Ламартина, влияние, более повторное внушение, да еще ритмическое, шло на меня от Некрасова. Его гражданская поэзия, его призыв – «где трудно дышится, где горе слышится, будь первым там», его «Русские женщины» – все волновало наше пробуждающееся

сознание. Я говорю во множественном, потому что в гимназии княгини А. А. Оболенской, где я училась, у моих подруг тоже были ищущие умы. Среди учащихся и учащихся царил дух просвещенного гуманизма, за которым наше чуткое ухо ловило косвенное порицание многих русских порядков.

Для меня гимназия была еще дорога тем, что там я научилась дружбе. Самыми близкими моими школьными приятельницами были Вера Черткова, дочь обер-егермейстера Г. А. Черткова, который смолоду зачитывался Герценом и тайком привозил из Лондона «Колокол». Лида Давыдова, дочь К. Ю. Давыдова, известного виолончелиста и директора Петербургской консерватории. Позже она вышла замуж за одного из первых русских марксистов, за М. И. Туган-Барановского. И, наконец, Надя Крупская, позже жена Ульянова-Ленина. Они с матерью, вдовой судейского чиновника, жили на пенсию более чем скромно, но уютно, тепло. Эти три мои самые близкие гимназические подруги принадлежали к совершенно различным кругам петербургского общества, но у всех, как и у меня самой, были дерзкие, беспокойные мысли. Это вообще свойственно юности. Но на нас действовала и эпоха. В ней шевелилась, таилась потребность к протесту, к резкой перемене в общественной жизни. К свободе мыслей и действий.

Это сказалось еще при Александре III, после неурожая 1891 года, когда правительство было вынуждено на время примириться с участием общественных деятелей в борьбе

с голодом. В этой работе я участия не принимала. Я уже была замужем. У меня был сын. Позже родилась и дочь. На несколько лет я ушла в семейные радости и печали. Но с книгами я не расставалась, и ход мыслей моих не обрывался. К чему они меня привели, об этом я и говорю в настоящей книге.

В ней я рассказываю о людях, которые добивались политической свободы, но их политические мысли и доводы передаю как можно короче. Они все это изложили сами в своих статьях, книгах, речах, гораздо лучше, чем я могу это сделать по памяти. Моя задача – передать их душевный склад, ту общую психологическую среду, в которой происходило Освободительное движение. По мере сил запечатлеть отдельный облик каждого – самое трудное в писательстве.

Я начала писать воспоминания под немецкой оккупацией, без книг, приготовила их к печати позже, в Версале и Нью-Йорке, где могла бы достать книги, касающиеся той эпохи. Но я не сделала этого. Я поставила себе задачей передать только мой личный опыт, связанный с этим важнейшим отрезком русской истории. Я сделала исключение только для главы «Революция продолжается». Я взяла для нее из крайне интересной книги В. А. Маклакова, «Вторая Дума», сведения о попытке Столыпина сговориться с кадетами, так как считаю этот эпизод необычайно показательным и для власти, и для оппозиции, а сама я о нем почти ничего не знала.

И еще несколько справок я взяла из воспоминаний А. А. Кизеветтера, «На рубеже двух столетий». Остальное писано по памяти.

*АРИАДНА ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС*

*Февраль 1952 г.*

*Нью-Йорк*

# Глава 1

## В преддверии

Я не пишу истории, у меня нет под рукой ни книг, ни документов, нет даже заметок, которые я иногда делала. Это только воспоминания, рассказ о том, что я видела, слышала, среди чего росла и жила. Пишу только то, что удержалось в памяти. Начала писать в конце 1940 года в По, в небольшом городке, на юге Франции, с чудесным видом на Пиренеи. Сейчас пишу в Гренобле с не менее чудным видом на Альпы. Где буду кончать? Удастся ли кончить? Кто знает? В 73 года на завтрашний день смотришь осторожно, особенно сейчас, в 1943 году. Но я постараюсь сохранить в памяти людской то, чему была свидетельницей, иногда участницей, передать нарастание, дыхание событий, над которыми будущим историкам предстоит ломать голову. Если только история, книгопечатание, библиотеки, архивы, все, из чего складывается культура, не будет снесено бурями.

Воспоминания мои я принялась писать, потому что считаю необходимым удержать память о нашей эпохе, завершившей определенный период русской жизни, а может быть, и не только русской. О себе я стараюсь говорить поменьше, но все-таки говорю. И я была частицей, хотя и малой, того оппозиционного кипения, которое тогда же стали называть

Освободительным движением. Теперь, после всего, что терпит Европа, чем болеет Россия, я иначе отношусь ко многому, что тогда происходило, в чем я так или иначе принимала участие. Мне виднее стали наши слабости, ошибки, заблуждения. Но я не отрекаюсь от своего прошлого, от основных идеалов права, свободы, гуманности, уважения к личности, которым и я, по мере сил, служила. Я горько сожалею, что наше поколение не сумело их провести в жизнь, не сумело, не смогло утвердить в России тот свободный демократический строй, к которому мы стремились. Екатерина II говорила, что ставит себе целью блаженство каждого и всех. В этих словах много мудрости. Под всеми она разумела Россию. Мы перенесли центр тяжести на каждого, забывая завет другого великого государя, Петра I: была бы Россия жива... Забывали не потому, что хотели гибели России, а по ребяческой, невдумчивой уверенности в ее незыблемости.

Но в основе наших страстных домогательств было стремление ко всеобщему блаженству, а не к своему личному благополучию, а уж тем более обогащению, как это часто бывало с политиками в Европе. Зато в русской оппозиции было много незрелого, наивного, непродуманного и, что оказалось опаснее всего, много государственного простодушия.

Чем больше память возвращает меня к тому прошлому, тем с большим удивлением замечаю я, что европейские потрясения и обвалы, среди которых приходится жить сейчас, преемственно связаны с тем, что думали и делали мы,

русские, полвека назад. Если бы в конце прошлого и в начале нынешнего столетия наиболее деятельная, настойчивая, увлекающаяся часть русского общественного мнения не была слепа к русской действительности, не была одержима страстью к протесту, не было бы двух европейских войн, не было бы азиатских волнений, и я спокойно писала бы мои воспоминания дома, в России, а не на чужбине. Но случилось иначе.

Вышло так, что то, что мы считали нашим русским делом, нашей русской борьбой за новую жизнь, превратилось в предисловие к тому, что ожидало Европу, что отразилось на жизни всех народов на всех пяти континентах. То, о чем я пишу, стало частью и их истории. Ведь марксизм, который сейчас имеет такое огромное влияние на политику всего мира, стал реальной силой благодаря русской революции, хотя вначале марксизм был только одним из слагаемых русской революции. Началась она 14 декабря 1825 года. С тех пор революционные искры то тлели, то разгорались в беспокойных умах, пока, уже в XX веке, не промчались степным пожаром по всей России и дальше по всему миру.

Подземное революционное горение отражалось на жизни всех думающих людей: и тех, кто разжигал огонь, и тех, кто старался его потушить. Отблески этого огня отражались на всем, что с юности я видела, слышала, читала, думала, чувствовала. Чтобы понять русскую действительность за последнее столетие, надо помнить об этом непрестанном, жгу-

чем, неудержимом, мятежном беспокойстве. Оно нарастало, оно крепло, пока, в 1917 году, не разразилось сокрушительной революцией, страшным историческим обвалом, который опрокинул жизнь сначала культурных классов, потом переломал весь склад жизни и крестьян.

Для меня ускорение революционного ритма совпало с резкой переменой в моей личной жизни. Она так сложилась, что мне пришлось зарабатывать на себя и на детей. Я была к этому не подготовлена, не представляла себе трудностей, которыми жизнь часто встречает новичков. У меня не было профессии. К счастью, я сразу схватилась за журналистику, сделала писательство своим ремеслом, которому и до сих пор служу. Это позже сблизило меня с деятельной оппозицией. Но вначале я чувствовала себя на новой дороге очень одинокой, тем более что я еще не видела перед собой общественных задач. Да и перед общественным мнением они еще только начинали выясняться. Не было маяков, по которым я могла бы держать курс. Это было едва ли не самое тяжелое для меня.

Только ответственность за детей я ясно сознавала. Я взяла их к себе, когда разошлась с мужем. Так или иначе, надо было выгребать. Летом я перевозила детей в деревню, к маме, и сама больше жила там, чем в городе. На Вергеже я опять окуналась в теплую, светлую мамину жизнь, сливавшуюся с красотой родного деревенского простора. Осенью, с началом школьного года, мы с детьми возвращались в Петербург.

Мы жили в маленькой, дешевой квартире на Песках. Вся жизнь была дешевая, похожая на то, что я, гимназисткой, видела у моей близкой подруги, Нади Крупской. Тогда я удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте? Теперь пришлось понять. Часто и на такое житье не хватало денег. Работы почти не было. Я оторвала детей от обеспеченной жизни, и что же я им даю взамен?

Безденежье меня давило. Я не умела проталкиваться, пробиваться. Этим даром судьба меня не наградила. Среди писателей были у меня знакомые, с ними было приятно, весело болтать, но никому из них не приходило в голову помочь мне найти работу. Может быть, то, что я помещичья дочь, создавало иллюзию моей обеспеченности. Мои купленные раньше в Париже платья, которые я кое-как перешивала, донашивала, тоже придавали мне такой вид, что меня могли считать богаче, чем я была. Обманывала и моя задорная, независимая манера держаться – стой на рогоже, говори с ковра. Хозяйка «Мира Божьего» А. А. Давыдова, с дочерью которой я была очень дружна, раз предложила мне перевод французской книги об энциклопедистах, который и был напечатан в приложении к «Миру Божьему». Это дало мне короткую передышку. Переводная работа мне не очень давалась. А газетная сразу пришлась по душе. В Петербурге тогда издавалось очень мало газет, и к ним у меня хода не было. Я начала с сотрудничества в провинциальной прессе, в ярославской газете «Северный Край», куда посылала «Петербург-

ские Письма». Писалось легко, даже слишком легко и беззаботно. После уже довольно долгой писательской и общественной деятельности я заглянула как-то в свои первые фельетоны. Напала на статью о передвижниках – и мне стало жутко. Сколько легкомысленной отваги и как мало знания и понимания! Правда, что тогда в живописи разбирали не художественное творчество, а вложенное в картину содержание, тему, на которую она была написана. Ну и я брела по этой узкой тропинке.

С «Северным Краем» у меня сразу установились хорошие, товарищеские отношения, сначала по переписке. Но газета была бедная. Они не могли мне платить больше трех копеек за строчку, да и те с опозданием. Писать я могла им раз в неделю, строк триста-четырееста. В лучшем случае я выгоняла в месяц около 40 рублей. За квартиру надо было платить 35 рублей. Получала я еще несколько сот рублей в год дохода с небольшого кирпичного завода, построенного на арендованной у папы земле. Летние месяцы на Вергеже мне ничего не стоили. Но все-таки содержать себя и детей бывало так трудно, что я иногда просто терялась.

Мои дела стали поправляться, когда я начала писать во второй провинциальной газете, в «Приднепровском Крае», издававшемся в Екатеринославе. Но мое благоденствие продолжалось не долго. Разыгралась история, характерная и для положения прессы, и для настроения журналистов.

«Приднепровский Край» был больше и несравненно богаче ярославской газеты. В редакции я никого не знала, но мои статьи понравились, и они сразу за меня ухватились, просили писать побольше. Я писала им обо всем, что приходило в голову: о театре, о книгах, о новостях иностранной жизни и литературы. Первые мои рассказы были напечатаны в «Приднепровском Крае». Политических тем я, конечно, не касалась. Цензура их не пропускала. Но о чем бы мы ни писали, власть всегда чуяла в наших словах и в наших умолчаниях строптивый дух оппозиции. И была права. Но и мы были не виноваты, что нам тесно, что мы переросли загородки, куда правительство упрямо втискивало русскую мысль. Правительство не хотело, не умело дать исход накопившимся общественным эмоциям и политическим запросам, не понимало, что нарастает энергия, которую опасно держать под спудом.

Цензура била нас и по карману. Оба редактора, и ярославский и екатеринославский, все мои статьи были готовы печатать, все принимали. Но цензура нередко их запрещала. За непропущенные статьи мне никто не платил. Было нелегко угадать, что проскочит, что нет.

В Екатеринославе тоже шла война между вице-губернатором и редактором Лемке. Это был отставной офицер, задорный, с большим желанием играть в левых кругах роль. Позже он написал несколько книг о цензуре и о революции. Но в то время он был начинающий журналист. Не знаю, был ли он

уже тогда членом социал-демократической партии, но позже он стал членом коммунистической партии. Как редактор «Приднепровского Края», Лемке, как, впрочем, и многие провинциальные редакторы, яростно воевал с местной цензурой. Порядок был такой: корректура набранного номера посылалась к цензору. Он отмечал неудобные ему места, и, когда расчерканный красными цензорскими чернилами лист возвращался в редакцию, надо было в спешном порядке, ночью, вынимать преступные места, кое-как штопать страницы, затыкать опустошенные гранки материалом, раньше прошедшим цензуру. Лемке попробовал завести другой порядок. Он стал рассылать газету в том виде, как она была получена от цензора. Страницы белели пустыми местами. Чиновники злились, но не было закона, запрещавшего оставлять в статьях и между статьями пустоту. Наконец Лемке переборщил. Не знаю, составил ли он номер очень резко, или цензор был в тот вечер сердит, но корректурные листы вернулись из цензуры почти сплошь замазанные красным. Не осталось ни одного живого места, одни заголовки и отрывистые строчки непонятного текста. Лемке так и отпечатал плешивую газету и разослал подписчикам белые страницы, на которых кое-где были отдельные фразы. Начальство взбесилось. «Приднепровский Край» был закрыт. Но хозяин газеты, миллионер-подрядчик Копылов, был в добрых отношениях с местной администрацией и умел устраивать свои дела. Он добился разрешения возобновить издание га-

зеты, но уже без Лемке, который, в ответ на свое увольнение, немедленно разослал всем сотрудникам письмо, где сообщал, что ушел из редакции «по принципиальным причинам», и спрашивал, согласны ли мы подписать коллективное заявление, что мы тоже уходим и без него сотрудничать в «Приднепровском Крае» не можем?

Для меня, как и для большинства сотрудников, это была пренеприятная история. «Приднепровский Край» был опорой моего тощего бюджета. Они платили мне целый пятак за строчку, и платили исправно, чего про «Северный Край» я сказать не могу. Но делать было нечего. Такая была заведена между русскими писателями и журналистами мода, что мы табунком входили в редакции и табунком из них вылетали. Я вздохнула, но написала Лемке, что он может и мою подпись поставить.

Прошло немного дней, и прислуга ввела в мою гостиную приземистого господина с круглой бородкой, с быстрыми глазами, с толстой золотой цепочкой, блестящей на пестром жилете.

– Позвольте представиться – Копылов.

Франтоватым жестом актера, разыгрывающего на провинциальной сцене барина, он поднял к губам мою руку и звучно ее поцеловал.

– Очень рада познакомиться. Садитесь, пожалуйста.

Острые глаза подрядчика обежали мою тесную комнату, прикинули цену стульям и дивану, обитым дешевым крето-

ном, заметили одинокую полку с книгами, простой, крашенный стол, пол без ковра, стены без картин и уже с большей уверенностью остановились на хозяйке.

– А я, барынька, счастлив с вами познакомиться. Давно хотел. Бойкое вам Бог дал перо. Хоть бы мужчине впору... Хе... хе... хе... Очень читатели одобряют.

– Спасибо, что сказали. Мне издали трудно было понять, одобряют или нет. А мы, пишущие, любим, чтобы читатели нас хвалили. Спасибо.

– Нет, это вам спасибо. Так и у газетчиков спрашивают – Вергежский есть? Если нет, не дам пятака. Хе... хе... хе... И ведь все думают, что Вергежский – это мужчина. А Вергежский – вот он какой.

Он разглядывал меня с бесцеремонным одобрением. Его занимало, что вот какая «барынька» у него работает, получает от него деньги. Не давая мне опомниться, он стал рассказывать мне про себя, стараясь дать мне понять, что размах у него немалый.

– Вот приезжайте к нам в Екатеринослав в гости, увидите, как у нас люди живут. С читателями познакомитесь. У меня поживете. Я для вас гостей соберу. Меня весь округ знает. Я ведь не только газету, я и театр держу. Большой я охотник до театра. Правда, денег в него прорва уходит. Куда больше, чем в газету.

– Еще бы. Я слышала, что газета вам хороший доход приносит...

Он самодовольно ухмыльнулся:

– Слышали? Что ж, жаловаться нечего, но можно деньги и лучше оборачивать. Да я и газету не ради прибыли завел.

– Не ради прибыли? А ради чего?

– Для плезуру. Все-таки издатель большой газеты – это вам не кто-нибудь. Только театр, хоть игрушка и дорогая, пожалуй, еще занятнее. Я человек веселый, и актеры народ веселый. Про актрис и говорить нечего. Хе... хе... хе...

Я демонстративно промолчала. Он понял. Такие подрядчики, вышедшие из низов в миллионеры, были люди сметливые и психологи недурные. Копылов еще раз ощупал глазами дешевую обстановку моей гостиной, повертелся на стуле и, глядя мимо меня в окно, небрежно спросил:

– Может, готовая статейка есть? Я пошлю.

– Нет. Вы же знаете... Мы...

Он не дал мне договорить:

– Слыхал, барынька, слыхал. Пустяки все это. Газета у меня солидная. С начальством я ладить умею. Пишите себе, как писали. Мы вас не обижали и не обидим. Можно и гонорарчику прибавить, и фикс назначить. Авансик получить желаете? Чего с почтой возиться, когда контора у меня в кармане.

Он вытащил из-за пазухи свою контору. Раскрыл туго набитый бумажник. По привычке своей верить во всемогущество денег, он мог не шутя думать, что вид сотенных сделает меня покладистее. Я не рассердилась, только засмеялась.

– Нет, спасибо. Какой же аванс? Ушел от вас редактор, вслед за ним ушли и сотрудники. Ушла и я. Вот и все.

– Полноте, барынька, чего же вам-то уходить? У меня уж новый редактор есть. Поведет все по-старому. И вы пишете по-старому, а уговор сделаем новый, поспособнее. Хотите?

Моя улыбка сбивала его с толку. Он видел, как я живу, и надеялся, что не так уж я глупа, чтобы отказаться от хорошего заработка. Похлопывая рукой по бумажнику, он ласково уговаривал меня:

– Ну зачем от денег отказываться? Берите аванс, а там когда-нибудь сочтемся. Я вас прижимать не буду, отдадите, когда хотите. Только пишете. Ну, сколько вам денег отсыпать?

Я встала.

– Нисколько. Мы уже в расчете. Контора мне все выслала. А писать у вас мне больше не приходится. Вам это трудно понять. В каждой артели у ваших рабочих свой порядок. Мы, писатели, также артель. Одного тронут – все за него стать должны. Так у нас полагается.

Встал и он. С недоумением повертел в руках бумажник, точно все еще удивляясь, что такой жирный аргумент не пробил бабьего упрямства, сунул его за пазуху и уже без прежней развязности не очень уверенно протянул мне руку. Я положила в нее свою. Чего мне было на него сердиться? Тем более что мне говорили, что он выдал Лемке годовое жалованье, хотя мог этого и не делать. Правда, сотрудники от это-

го не стали богаче. Я не знала, чем буду платить за квартиру следующий месяц?

В дверях Копылов приостановился. По его умному мужицкому лицу пробежала лукавая улыбка.

– Эх, барынька, барынька, какая вы колючая... Не подступись... А я-то ехал в Питер, думал, Вергежский со мной к Палкину пообедать поедет, а потом в театр. Вот вам и театр! Вот вам и Вергежский!

Мы обменялись с ним взглядом. В острых глазах разбогатевшего мужика была насмешка над моим неумением устроиться, но был и отблеск чего-то другого. Мой вежливый, но решительный отпор вызвал в нем спортивное одобрение.

– Да, вот Вергежский, уж какой есть, – тоже с усмешкой сказала я. – Ну что ж, у каждого своя повадка, ничего не поделаешь. Счастливо оставаться.

Больше я его не видала, в его газете писать перестала и сразу очень обеднела. Я все еще не умела бороться за существование, и подчас это было очень тяжело.

Набежала небольшая работа в «Сыне Отечества», который издавался в Петербурге. То есть по существу работа большая, ответственная, утомительная, но платили за нее гроши, и редакция совершенно не интересовалась тем, что я пишу и понимаю ли я что-нибудь в театре, о котором должна писать? «Сын Отечества», созданный в 20-х годах XIX столетия Фаддеем Булгариным, пережил несколько редакторов и в конце XIX века попал в руки народника С. Н. Кривенко,

бывшего сотрудника закрытых «Отечественных Записок». Жена Кривенко, С. Е. Усова, была другом нашей семьи. Через нее я и попала в «Сын Отечества» как театральная рецензентка. Жалованья мне не полагалось, построчные я получала ничтожные, писать надо было коротко, печатали меня мелким шрифтом. Все подробности как будто мелкие, но для меня очень непитательные. Выходило рублей пять за заметку, а работа была ночная, приходилось еще и на извозчика тратиться, чтобы поспеть к выходу газеты.

В те времена даже бедные писатели держали прислугу. И у меня, в моей маленькой квартире, хозяйство вела кухарка, но с детьми мне приходилось много возиться самой, поэтому писала я в свои газеты по вечерам. А тут, раза два в неделю, надо было отправляться в театр, оттуда в редакцию, там писать отчет о премьере и домой возвращаться после полуночи. Не было времени подумать, разобраться. Хуже всего было то, что я никогда не была театралкой. Большинство новых пьес меня раздражало своей бледной пустотой и вульгарностью. Особенно не любила я бывать в Малом Театре у Суворина. Не знаю, было ли это предвзятое отношение, потому что мы все так не любили «Новое Время» и Суворина как редактора и публициста, все в его театре казалось мне пошлым и плоским. Но и в Александринке тогда пахло затхлым. В этой, для меня новой отрасли журнализма мне все не нравилось. Спектакли кончались поздно, иногда около полуночи. Прямо из театра надо было ехать в редакцию

и там второпях судить и пересуживать замысел автора, постановку, игру артистов. Эти ночные судбища и для драматургов, и для актеров большое испытание. Да и рецензенты писали бы толковее, если бы могли выспаться и на следующее утро спокойно просеять свои впечатления.

Искать работы я никогда не умела. Газет было мало. В журналы мне нечего было тогда предложить. Кончилось тем, что я переутомилась, не могла писать, путала слова. Я потеряла работоспособность. Мне стало страшно. Настоящим образом страшно за себя и детей. Я вообще не из пугливых и перед жизнью редко робела. Но это ощущение мозговой пустоты и полного своего бессилия меня чуть не раздавило. Меня спасло то, что я твердо знала, что я должна поправиться ради детей.

У меня было крепкое физическое чувство связи с ними. Мои дети, совсем мои. Я была спокойна, когда мы все трое были под одной крышей, когда они были тут, рядом. Когда я слышала топот их ног, их голоса, шум их жизни. Утром стремительные сборы в школу, хлопанье дверей, быстрый завтрак. Днем резкий звонок. Один, другой, третий. Прислуга ворчит:

– Ну, иду, иду... Чего трезвоните?

Она открывает дверь, и ко мне из передней летит запыхавшийся детский голос:

– Мама дома? Есть хочу! – Это священное восклицание всех школьников матери обычно слышат с удовольствием.

Уроки готовились до обеда, довольно позднего. Вечером мы втроем забирались на широкий, обитый темно-оливковым кретоном диван и я им читала. Это было лучшее время дня. От детей, примостившихся как можно ближе ко мне, шло ласковое тепло. Они были частью меня самой, точно входили в меня. Я читала им Пушкина, Некрасова, Лермонтова, Андерсена, Киплинга, стихи, прозу, сказки, были и небылицы. Слушатели они были благодарные, ненасытные. У Софы и воображение было ненасытное. Адя смотрел на вещи трезвее, и его сердило, когда мы с Софой вслух сочиняли стихи. Он был прав, так как наши вирши были из рук вон плохи, но нас с ней это стихоплетство тешило.

Но одну форму сочинительства и Адя одобрял. Это были мои импровизированные рассказы, особенно похождения лисички. Сказка-побывальщина про лисичку тянулась из вечера в вечер. Целую зиму, если не дольше, лисичка была верной и лукавой нашей спутницей. Она вплелась в нашу жизнь, принимала участие в ее событиях, в шалостях, проступках, радостях, огорчениях. Усаживаясь на диван, охватив одной рукой дочь, другой сына, я и сама не знала, куда я поведу лисичку, что заставлю ее говорить и делать. Но игра захватывала и меня, и я, вместе с детьми, волновалась за нашу сказочную спутницу, когда она попадала впросак, и я радовалась, когда ей удавалось перехитрить противников.

Само собой разумеется, что на наши диванные заседания никто не допускался, и дети считали себя ограбленны-

ми, если в этот сумеречный час неожиданно появлялись гости или мне надо было уходить. Когда я писала театральные рецензии, мы все трое досадовали, что театр начинается как раз тогда, когда нам полагается сидеть на диване. Может быть, отчасти и из-за этого я не любила писать рецензий. Трудно было мне тогда угадать, что впереди меня ждет жизнь несравненно более поглощающая, чем ночная работа рецензента, что все меньше и меньше будет у меня оставаться времени для детей. Английская романистка Мэри Вебб говорит, что это несчастье писателей, артистов, общественных деятелей, что они могут отдавать любимым, близким людям только частичку своей жизни. Она видела в этом своего рода контрибуцию, наложенную судьбой на тех, кто выступает из замкнутости семьи. По опыту своему знаю, как трудно, особенно женщине, распределять свое внимание, устанавливать равновесие между личным и общим.

Мое крепкое чувство связи с детьми, сознание, что я им нужна, помогли мне вылечиться. И целебный воздух Ялты. И встреча с князем Дмитрием Ивановичем Шаховским.

Я уже два года работала в «Северном Крае», но не знала ни своих товарищей по редакции, ни своих читателей. Это не придавало мне в работе уверенности. Точно в воду бросала я свои статьи, не зная, находят ли они отклик, нужна ли я кому-нибудь? Когда я надорвалась, я перестала верить в себя. В Крыму жизнерадостная художественная напряженность, излучавшаяся от кружка Станиславского, ко-

торый привез в Ялту, в гости к Чехову, всю свою труппу, занимала меня, но и оттеняла мою неприспособленность, оторванность. Я не вошла в праздничную жизнь, игравшую вокруг меня. Мне казалось, что для меня все в жизни кончено, хотя на самом деле моя жизнь едва только начиналась.

И вдруг в мою дверь постучал Шаховской.

Он разыскал меня, чтобы передать привет от редакции «Северного Края» и посмотреть, на что похож этот Вергежский, статьи которого появлялись каждую неделю в их газете, где он был соредактором. Встреча с Шаховским была первой моей связью с общественностью, в которую я позже окунулась с головой. Его отношение ко мне было первым признанием моей пригодности, в которой я так часто сомневалась.

О Шаховском я почти ничего не знала, не знала ни его прежних исканий, ни его настоящей деятельности. Но что таких, как он, я еще не встречала, я это не могла не понять.

Мне сразу стало с ним легко, хотя я и сознавала, что смотреть на него приходится снизу вверх, а я к этому не привыкла. Это не было обидно. Так должно было быть. Его значительность я сразу признала. До тех пор я жила в затянувшейся школьной заносчивости. Редкая память, быстрая сообразительность, бессистемная, но большая, чем у многих сверстников и сверстниц, начитанность давали мне какие-то преимущества. Этому помогал и женский успех. Выйдя замуж за первого моего мужа, я попала в среду людей, от кото-

рых мне нечему было научиться. Сравнение с ними не развивало скромности. Изредка, в литературных кругах, встречала я людей, которые меня занимали, забавляли, но и только. Ни за кем из них я не хотела бы пойти, не могла бы пойти. Не знаю, кого за это корить – их? Себя? Или благословлять Судьбу, что она не привязала меня ни к одному из тогдашних кружков? А может быть, следует пожалеть, что ни толстовцы, ни народники, ни марксисты не взволновали смолоду моего воображения. Юность и молодость горят ярче, если в эти впечатлительные годы увлечет живая идеология и ее живые носители.

Все это мне принес Шаховской. Он принес мне молодость, хотя годами был значительно старше меня. Между нами сразу возникла дружба, глубокая, дарящая. Передо мной блеснули просторы, по которым я давно скучала. Не сразу открылась к ним дорога. Но мало-помалу я ее нашла, отчасти сама, отчасти при помощи новых друзей. Шаховской меня не поучал, не наставлял, никуда не загонял. Он слишком уважал свободу других, чтобы это делать. Он только присматривался ко мне, водил меня и детей на далекие прогулки по окрестностям Ялты, рассказывал мне про Ярославль, про редакцию, про Э. Г. Фалька, редактора «Северного Края».

– Вот переезжайте к нам. Будем вместе работать. Что вам в чиновничьем Петербурге киснуть.

И смеялся, глядя на меня ястребиными, круглыми глаза-

ми. Он вообще смеялся много и громко. Это сбивало с толку. Могло казаться, что он потешается над людьми. На самом деле он смеялся каким-то своим мыслям, даже не всегда мыслям, а облакам, проходившим где-то в душевной глубине. Шаховской был человек глубинный, как позже стали говорить, интуитивный. Но, как и многое в этом замечательном русском человеке, я это поняла только гораздо позже.

Встреча с Шаховским была для меня целительнее, чем южное солнце. Он расправил мою смятую душу, вдохнул в меня уверенность в моих писательских способностях, хотя хвалил меня редко, да и то мельком, точно подсмеиваясь. Я не была очень падкой на похвалу. Похвала меня смущала, вызывала неловкость. Я не верила, что это всерьез. Но каждое одобрителное замечание Шаховского прибавляло мне сил. Порой учила и его добродушная насмешка. В Ялте я еще не понимала, какое решающее влияние на мою жизнь окажет наша встреча. Но когда я возвратилась из Крыма в Петербург, новые голоса звучали в моей душе.

## Глава 2

# Новые люди

Еще гимназисткой, задолго до Крыма, встречала я писателей у Давыдовых. Видела там Гончарова, Гаршина, позже Мережковского, Глеба Успенского. С детства ненасытная читательница, я смотрела на них со всей внимательностью, на которую юность только способна. Разговаривать с ними не решалась, а слушала жадно даже незначительные их речи. Гончаров удивил меня своей чиновничьей невзрачностью. Трагическая красота Гаршина, тоскующее выражение его темных, сияющих из глубоких орбит глаз навсегда слилось с памятью о его рассказах, с тем сердечным волнением, которым они наполняли молодые души. После Некрасова, Гаршин для нашего поколения был самым влиятельным воспитателем социальной жалости. Это чувство для многих стало главным содержанием и двигателем жизни.

Первый писатель, с которым я разговаривала свободно, с полной уверенностью, что ему так же интересно болтать со мной, как мне с ним, был Д. Н. Мамин-Сибиряк. От встречи с ним я впервые испытала то чувство праздничности, которое дает нам общение с людьми талантливыми или хотя бы даровитыми.

Это было в Царском Селе. Я пришла на именины к сест-

ре, М. В. Антоновской. Среди гостей был незнакомый мне плечистый человек средних лет, с черной полуседой гривой, с трубкой в зубах. Его выпуклые черные глаза пристально меня разглядывали. Я не обратила на него внимания, пока он не заговорил. Остальные гости сразу замолчали. Да и я невольно к нему повернулась, поддавшись неожиданному для меня очарованию, исходившему от этого сказочника.

Мамин-Сибиряк жил в Царском Селе ради Аленушки, своей больной дочери, которой он по вечерам рассказывал сказки. От его любви к дочке и родилась чудесная книга «Аленушкины сказки». Дмитрий Наркисыч был отличным рассказчиком, с тонким юмором, с актерским даром изображать целые сцены, которые он тут же импровизировал. Он был талантливый писатель, но талант свой по небрежности, по беспорядочности жизни не до конца развернул. Рассказывал он лучше, чем писал. В ту зиму я тоже жила в Царском Селе. Мы часто бродили с ним вдвоем по Царскосельскому парку, и он вслух сочинял то, что потом собирался писать. Многое так и осталось ненаписанным. Две темы запомнились мне. Одна юмористическая, про троеженца. Его судят. Судьи, прокурор, присяжные, даже адвокат – все не могут без смеха смотреть на него. Ну раз женился, ну два, но зачем ты, дурак, еще и третью жену себе навязал? Все это Дмитрий Наркисыч изображал в лицах, меняя интонации.

Второй рассказ был трагический. Молодая хорошенькая женщина случайно, в парке, знакомится с молодым челове-

ком. Завязывается быстрый роман. Он ничего о ней не знает. Где она живет? Кто ее муж? Когда он спрашивает, она только отворачивается. Но раз, в дождливый, уже осенний вечер, она ведет его к себе. Большой сад, большая дача. Цветы темнеют в клумбах. Но и в саду, и в доме до странности тихо. Она вводит своего любовника в гостиную. Из угла раздается радостный голос:

– Маша, наконец... Ты не одна? С кем ты?

– Я встретила старого знакомого...

– Милости просим...

К ним навстречу из дальнего конца гостиной осторожно, нащупывая дорогу, идет молодой, красивый человек. Так вот кого они беззаботно обманывали – слепого. Ему становится стыдно, страшно. Потихоньку пятится он к двери, уходит. Больше он с ней не встречался.

Немало таких рассказов сочинил Мамин-Сибиряк, когда мы с ним бродили вдвоем под оснеженными, сверкающими на солнце деревьями Царскосельского парка. Его подстрекала моя молодая отзывчивость. Он находил, что я отличная слушательница. В ту полосу молодости я была довольно избалована вниманием. Все же мне льстило, что Мамин-Сибиряк так пристально вглядывается в меня. Несмотря на внешнюю грубоватость, в нем было много тонкости, такта, понимания. Он был не только талантливый, но и добрый человек. Трогательно и весело заботился он о своей бедной больной Аленушке.

Мамин вырос в уральской глуши, воспитания ему досталось еще меньше, чем образования. Жил он беспорядочно. Часто бывал пьян. Его лицо, смолоду, говорят, красивое, от водки стало красным, опухло. Но привлекательным он остался. Меня подкупало его художественное чутье, его чувство чужой личности, его доброжелательное любопытство к людям, широкая терпимость к чужому мнению, редкая в литературных кругах. Он был на много лет старше меня. О писательстве я тогда и не думала. Но с этим, тогда уже известным романистом мне было легко и свободно, точно со старым товарищем. Как позже с другим еще более беспорядочным, еще более даровитым писателем, с А. И. Куприным. У них были сходные черты. Оба были очень русские, оба очень чувствовали Россию.

Мы уехали из Царского Села, и я несколько лет не встречала Мамина-Сибиряка, пока мы не встретились на именинах Н. К. Михайловского. Я ребячески ему обрадовалась.

К концу 90-х годов авторитет Н. К. Михайловского как редактора «Русского Богатства» и публициста стоял очень высоко. Его журнал был опорой народничества и родственной ему подпольной партии социалистов-революционеров. Они считали себя наследниками «Народной Воли», то есть тех революционеров, которые убили Александра II.

Н. К. Михайловский был для многих учителем и вождем. Его статьи не просто читали, их штудировали, обсуждали долго, подробно. Я заглядывала в них редко, мельком. Мне

было просто скучно их читать. Может быть, отчасти оттого, что и личные встречи оставили неприятный привкус.

Первый раз я увидела Николая Константиновича, как было принято и за глаза называть Михайловского, в «Мире Божьем». Редакция журнала помещалась в квартире его собственности, А. А. Давыдовой. Меня к ней привела Лида. Она уже вышла замуж. Ее муж, М. И. Туган-Барановский, был одним из главных зачинателей русского марксизма. Между ним и Михайловским шла острая журнальная перепалка, что не мешало им встречаться. Среди гостей Давыдовой я увидела знакомое мне только по портретам лицо Николая Константиновича, с длинными полуседыми волосами, с длинной, тоже полуседой бородой. Я с любопытством вглядывалась в знаменитость. Я к ним еще не привыкла.

Михайловский расхаживал по длинной гостиной из конца в конец. Одной рукой обнимал он за плечи хозяйку, другой рукой так же нежно обнимал он свою тогдашнюю подругу Э. К. Пименову, очень милую женщину, беззаветно ему преданную. На ходу он по очереди снисходительно улыбался то одной, то другой. Все трое были в возрасте, который мне тогда казался очень почтенным, ближе к пятидесяти, чем к сорока. Вдвое старше меня. Мне было смешно смотреть на них. Какой же это духовный вождь? Просто паша турецкий. Я была молода, допускала большую свободу чувств. Но зачем же так напоказ, да еще в таком возрасте!

Это первое впечатление усилилось, когда я побывала

у Михайловского на именинах. Праздновал он их 6 декабря. Это было ежегодное событие литературного большого света. В календаре петербургских интеллигентов день этот был отмечен красным крестиком. Побывать на именинах Николая Константиновича считалось знаком отличия, этим можно было похвастать, щегольнуть. Это было почти служение народу.

Попробовала и я сходить на это языческое богомолье, куда меня тоже повела Лида Туган-Барановская. Она любила быть на людях, всюду бывала, всюду чувствовала себя как дома.

Прием поклонников и поклонниц начинался за завтраком и продолжался до поздней ночи. Угощались весь день. Длинный стол был заставлен пирогами и закусками. Кипел самовар. Но гости налегали не столько на чай, сколько на водку, наливки, вина. В тот единственный раз, когда я попала на это литературное пиршество, самым шумным собутыльником был С. Н. Южаков. Пир происходил в редакции «Русского Богатства», на Спасской площади. Южаков, постоянный сотрудник журнала, был не гостем, а одним из хозяев. Он весело шумел, быстро перекачивал свое грузное тело с одного конца комнаты в другой, со всеми разговаривал, угощал вином, не забывая и себя, громко острил и еще громче смеялся жидким, визгливым, хихикающим смехом. Длинные, седые, давно не мытые волосы окружали лоснящуюся лысину, прыгали по плечам. И сам он, особенно разговари-

вая с молодыми женщинами, прыгал, колыхался.

– Силен... – мелькнуло у меня в голове.

К несчастью, я ему приглянулась. Он резво закрутился около меня. Угощал наливкой. Я отказалась. Он, покачивая толстым животом, на котором с трудом сходились пуговицы давно не чищенного сюртука, наступал на меня, говорил комплименты, смотрел на меня подвыпившими, липкими глазами. Я начинала злиться и очень обрадовалась, когда через его плечо увидела седую голову и выпуклые, черные, насмешливые глаза Мамина-Сибиряка. Он отстранил Южаква, вынул изо рта неизбежную свою трубку и весело сказал:

– Здравствуйте, моя красавица. И вы тут? Не ожидал. Сергей Николаевич, ты к ней с напитками не приставай. Это не для Ариадны Владимировны. Сядьте-ка здесь. Я вам чаю дам с земляничным пирогом.

Черные глаза Мамина дружески смеялись. Он тоже успел выпить, но был трезвее других. Он понимал, отчего я злюсь, видел, как я сжимаюсь. Он постарался стряхнуть с себя хмель, начал мне рассказывать одну из своих забавных историй. Около него я понемногу оттаяла и ушла незаметно, даже не познакомившись с именинником. Это не было обязательно.

Личная жизнь противников Михайловского, марксистов, была более чинной. Я это знаю, потому что три основоположника русского марксизма, М. И. Туган-Барановский, П.

Б. Струве и В. И. Ульянов, были женаты на моих школьных подругах. У всех троих была крепкая, дружная, устойчивая семейная жизнь. Благодаря им я рано познакомилась с русским марксизмом, вернее, не с марксизмом, а с марксистами. Теорию их я никогда не изучала и чем больше слушала длинные разговоры о Карле Марксе, его учении, его письмах к Энгельсу, с указанием, в каком издании, на какой странице находится та или иная цитата, тем менее было у меня охоты изучать его. Хотя я была молода, марксисты были первой политической группировкой, с которой я встретилась, а смолodu новизна идей и чужой энтузиазм легко увлекают. Но я оставалась холодна.

К середине 90-х годов оцепенение предыдущего десятилетия понемногу проходило. Политических партий по-прежнему не было. Их не разрешали. Даже разговоры о политике не одобрялись. Но уже ясно обозначались три течения мысли: либералы, социал-демократы, народники. Народники сентиментально идеализировали мужика, не подлинного, не того, который почитал Бога и царя, а мужика ими выдуманного, который, по их мнению, созрел для социализма. Эти три направления были еще не до конца оформлены, они меняли очертания, переплетались. Их представители жарко спорили, но еще поддерживали между собой общение, иногда даже дружбу. Марксисты первые стали отгораживаться от остальной оппозиции, ставить барьеры. Они объявили междоусобную войну народникам, тоже социали-

стам, но другого толка. Яростно обрушивались на идейного вдохновителя народников, на Михайловского. Он был зубастый полемист и в долгу не оставался. Это был поход молодых на стариков. Трем вождям марксизма, когда они пошли против «Русского Богатства», было всем вместе столько же лет, сколько одному Михайловскому. Но самая их молодость была их силой, их энтузиазм подкупал.

Туган-Барановского я знала хорошо. Струве узнала близко несколько лет спустя. Ленина встретила только раз, позже, за границей. Из трех зачинателей и проповедников марксизма только он претерпел некоторые неприятности за распространение разрушительного социал-демократического учения. Был он арестован, был ненадолго сослан в Минусинский край, где брат мой, Аркадий, отбывал тогда пожизненную ссылку. Надя с матерью добровольно поехали за Ульяновым в Сибирь. Когда Ульянов стал эмигрантом, Крупская-мать уехала с ними за границу. Вдовья пенсия, которую его теща получала от самодержавного правительства, очень поддержала будущего диктатора в начале его революционной карьеры. О том, как Ульянов, всеми правдами и неправдами, ковал свою власть над социал-демократами, я знаю только понаслышке да по яростной полемике, разгоревшейся позже между большевиками и меньшевиками. Вначале об Ульянове мало говорили. На поверхности петербургского марксизма, на глазах у всех, включая Департамент полиции, бушевали два молодых вожака – Струве и Туган. Одним из их под-

ручных был болгарин Раковский, попросту Кристи. Будущий советский дипломат вносил в русскую интеллигентную среду не скажу славянский, но балканский элемент. По-русски он говорил бегло, но со специфическими болгарскими ошибками и ударениями. Начитанность, отличная память, упорность, выносливость и трудолюбие болгарского мужика помогли ему кончить в Париже два факультета и стать одним из вождей интернационала. Но все это не искупало его природной тупости. Она особенно бросалась в глаза рядом с такими крупными, блестящими людьми, как Струве и Туган.

Они были неразлучны, вместе давали они битвы в полузакрытых собраниях Императорского Вольно-экономического общества, где, со времен Екатерины II, баре, чаще всего помещики, обсуждали вопросы русского хозяйства, где, сто лет спустя после образования общества, зашумела новая городская интеллигенция. Эти два Аякса марксизма вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников, вели бесконечную полемику с Михайловским, яростно нападали на другого, менее зубастого народника, на В. В. Воронцова, писавшего в «Русском Богатстве» довольно невинные, но расходившиеся с Марксом рассуждения об общине и о крестьянском землевладении. Представители обоих социалистических течений вынуждены были из-за цензуры обо многом говорить иносказательно, но читатели привыкли читать между строк, и пропаганда социализма разле-

талась по всей России, бежала от человека к человеку и через печатное слово, и в устной передаче. Полемика, кипевшая в петербургских кружках или за вечерним чаем у Лиды Туган-Барановской, пересматривалась, переживалась в глухих провинциальных углах, соединяя одних, разъединяя других. Много раз я прислушивалась к ней у Лиды.

Она теперь жила совсем иначе, чем до замужества, в просторной квартире, где Давыдовы раньше принимали до 200 человек, русских и иностранных артистов, писателей, знатных особ, включая родственников царя. Отец ее, который был директором Петербургской консерватории, давно умер, и артистическая пышность жизни осталась позади. Дочь директора консерватории превратилась в литературную работницу, в жену ученого экономиста, социалиста, который развивал взрывчатые теории для ниспровержения существующего строя, политического и социального. Не Туган выдумал социализм и связанные с ним экономические теории. На это у него не хватило бы воображения. Но мозги его обладали редкой емкостью для впитывания книжного материала. Он мог наизусть цитировать Карла Маркса и Энгельса, твердил марксистские истины с послушным упорством мусульманина, проповедующего Коран. Экономический материализм был для него не только научной истиной, но святыней. И он, и Струве были совершенно уверены, что правильно приведенные изречения из «Капитала» или даже из переписки Маркса с Энгельсом разрешают все сомнения,

все споры. А если еще указать, в каком издании и на какой странице это напечатано, то возражать могут только идиоты. Для этих начетчиков марксизма каждая буква в сочинениях Маркса и Энгельса была священна. Слушая их, я поняла, как мусульманские завоеватели могли сжечь Александрийскую библиотеку.

Надо надеяться, что будущие исследователи истории марксизма, в особенности русского, разберут, как это случилось, что люди, казалось бы, не глупые, принимали эту мертвую каббалистику за научную теорию. Но русские пионеры марксизма купались в этой догматике, принимали ее за реальность. Жизнь они не знали и не считали нужным знать.

Меньше всего их интересовали те, ради кого все эти теории сочинялись, живые люди. Они, особенно Струве, их не замечали. У Тугана все же было любопытство к отдельным людям, была своеобразная мягкость. Сам бездетный, он очень любил детей. Он иногда приходил ко мне, чтобы повозиться, поболтать с моим маленьким сыном. Тот взбирался к нему на колени, заставлял рисовать ему неведомых зверей. Эта игра занимала и ребенка, и экономиста. Такой, домашний Туган мне больше нравился, чем тот, который письменно и устно проповедовал классовую ненависть. Это ему не подходило. В нем самом было что-то детское, подкупающее. Было простодушие, которого я ни в Ленине, ни в Струве не замечала.

Туганы жили упрощенно, по-интеллигентски. Они, как и

большинство кругом них, не придавали значения внешней обстановке. Постоянно переезжали, перетаскивали с квартиры на квартиру свою незамысловатую мебель. Лида всегда старалась поселиться поближе к редакции «Божьего Мира», которая помещалась на углу Лиговки и Гусева переулка. Квартира редакции имела полубарский вид, благодаря тяжелой, обитой темным плюшем мебели, оставшейся от лучших времен. Александра Аркадьевна, дочь московского актера, и сама была полубарыней. В ней не было подлинной светскости, но было чутье, была яркость даровитой, в свое время очень красивой, пленительной женщины. Она умела обходиться с людьми, умела обласкать тех, кто ей нравился или был ей нужен.

Привычка играть с людьми пригодились ей, когда она стала издавать «Мир Божий». Она притворялась простушкой, делала вид, что плохо разбирается в политических и литературных течениях, а на самом деле журнал велся по ее незаметной указке, а не по воле редактора. Практическая сметка подсказала ей, что невыгодно превращать журнал в кружковый орган. Пусть он будет неопределенно прогрессивным. Этого довольно. Ее зять Миша лидер какого-то нового учения, новой интеллигентской выдумки. Журналу новизна всегда приносит прибыль, пользу. Но приводить у себя чистый марксизм Александра Аркадьевна Мише не позволила. Для нее он совсем не был авторитетом. Лида была так с матерью дружна, что не обижалась за мужа, хотя сама

его не только беззаветно любила, но и высоко ставила его суждения, его ум и то, что считала его дарованием.

Лида была главной помощницей Александры Аркадьевны: она читала рукописи, подыскивала для переводов иностранные романы, эту необходимую приманку для подписчиков, сама писала статьи об иностранной жизни и литературе.

Писательского дара у нее не было. Главный ее талант был умение общаться с людьми, понимать их. Остроумная, живая, полная благожелательности, Лида была очень популярна среди пишущей братии. Она умела вернуть рукопись, не задевая самолюбия автора. От тугой на деньги Александры Аркадьевны она добивалась аванса, увеличения гонорара, той мелкой денежной снисходительности, которая так облегчает жизнь писателей, особенно начинающих.

У Лиды была способность искренно интересоваться чужой жизнью. Разговаривая с ней, слушая ее веселый, серебристый смех, люди переставали замечать, что нос у нее большой, да еще и приплюснутый, крупные губы слишком выдаются, маленькие глаза слишком глубоко сидят. Зато эти глаза светились чистым, голубым блеском, смотрели прямо на собеседника. Все лицо ее оживало, когда она была заинтересована человеком. Люди ее больше привлекали, волновали, чем сложные идеи, которые так густо обволакивали марксистов, включая ее Мишу. Иногда перед зеркалом, поправляя маленькой, белой, красивой рукой прямые пряди волос,

довольно нелепо спускавшихся на высокий лоб, она с шутивым упреком говорила:

– Ты думаешь, легко жить с такой физиономией, как моя. Попробовала бы ты. Счастливица!

На самом деле Лида в ту пору была по-женски несравненно счастливее меня. Она и Миша обожали друг друга, точно только вчера поженились. И в этом взаимном обожании прожили все десять лет своей жизни. Туганы были из татар, переселившихся в Литву в XIV веке. Полное имя их было – Туган Мирза Барановские. Миша, высокий, широкоплечий, грузный, с толстыми, скуластыми щеками и небольшими, чуть раскосыми глазами, на татарина и походил. У него была странная манера говорить. Он бормотал, слегка шепелявил, слова по-детски вылетали из небольшого рта с красными, пухлыми губами. Для Лиды это был самый красивый, самый привлекательный, умный, самый удивительный человек на свете. В ней нашел он свое первое, полное самоутверждение. Она первая в него поверила. Они молниеносно влюбились друг в друга. Встретились в Париже, на выставке 1889 года. Над Парижем, на башне Эйфеля, решилась их судьба. Сначала Александра Аркадьевна была очень недовольна. Она находила, что Лида гораздо умнее своего избранника, и в этом была права. Когда Миша стал своего рода знаменитостью, его статьи, его книги, диссертация, речи не изменили мнения тещи. Его кружковая слава, которая позже выросла в солидную профессорскую известность,

не смягчила ее насмешливой оценки. Со мной, как с близкой подругой Лиды, Александра Аркадьевна не стеснялась и порой откровенно называла зятя:

– Наш милый ду... .

Попросту говоря, дурак. Это было очень упрощенное суждение. Дураком Туган, конечно, не был, но была в нем доля нелепости, слепоты, иногда граничащей с тупостью. Он был большой мастер, что называется, ляпать, говорить то, чего говорить не следует. Лида, заливаясь своим заразительным смехом, спешила ему на помощь, замазывала его промахи.

По вечерам к ним часто приходили друзья, единомышленники, иногда и противники. Пили чай, судачили о народниках, спорили без конца. Угощение было незатейливое: бутерброды с чайной колбасой и сыром, иногда варенье, печенье. Чай разливала и проливала Лида, забывала, кто как пьет, заговорившись, оставляла кран самовара открытым и не замечала, что горячая вода льется себе да льется на скатерть. Михал Иваныч говорил много, других слушал рассеянно, съедал с ближайшей тарелки все пряники, потом предлагал гостям уже опустошенную тарелку. Семья Туганов очень тянулась за светскими манерами и обычаями, но в Мише никакой светскости не было, хотя этот проповедник классовой борьбы вышел из класса не пролетарского, а почти барского. Когда его две хорошеньких сестры появлялись на скромных Лидиных чаепитиях, их кокетливая нарядность составляла забавный контраст с остальными гостями.

Там же, у Лиды, встретила я в первый раз П. Б. Струве. Он был уже женат на Нине Александровне Герд, с которой в детстве меня связывала школьная дружба. За чайным столом шли споры о нашумевшей тогда книге М. Нордау о вырождении. Многие считали, что Нордау преувеличивает, что нет никакого общего вырождения, а что всегда так было, что рождались люди то более, то менее складные. И вдруг в разговор бурей ворвался молодой рыжебородый человек. Он высвободил из-под длинных, небрежно причесанных тоже рыжих волос большие уши, схватился за них обеими руками и, оттягивая их так, точно хотел вырвать их с корнями, завопил:

– Как нет вырождения? Да вы посмотрите на меня, на мои уши!..

Все засмеялись. Смеялся и он, но продолжал выбрасывать аргументы, твердил, что вырождение есть факт неоспоримый, с такой же страстностью, с какой позже выкрикивал политические лозунги. Его жена тоже смеялась, но старалась его удержать, укоризненно говорила:

– Петя, да перестань. Ну что за глупости ты говоришь.

Он никого и ничего не слушал и продолжал, захлебываясь, изображать себя как пример вырождения. Сколько раз потом, в несравненно более серьезных вопросах, приходилось мне слышать его захлебывающийся голос, его страстную отрывистую речь, в которой так странно смешивались глубокие, иногда даже пророческие речи с неожиданными

истерическими выкриками. И голос обожавшей его Нины:  
– Петя, да перестань же...

Но к Струве я подошла только позже, в другом отрезке жизни.

Семья П. Б. Струве была солидная, чиновничья. Отец дослужился до вице-губернатора. Но сын из этой среды манер не вынес. Струве, как и Туган, за своими манерами не следил и следить не считал нужным. Это была общеинтеллигентская черта. Еще мода 60-х годов на опрощение не прошла. Только тогда, когда коммунисты свирепо, насильно опростили жизнь, все обезобразили, опрокинули, все обычаи растоптали, русские интеллигенты спохватились и бросились восстанавливать благовоспитанность отцов и дедов.

П. Б. Струве был небрежен еще и потому, что не замечал людей, не интересовался их впечатлениями. Иногда он согласен был следить за их мыслями, но их вкусы, привычки, чувства его мало интересовали. Только во вторую половину жизни в нем зашевелилось психологическое любопытство к людям. Сейчас я стараюсь восстановить его образ таким, каким он промелькнул мимо меня в самом начале своей общественной известности. Струве так же, как и другие энтузиасты марксизма, собиравшиеся вокруг чайного стола Лиды, искренне верил, что экономический материализм принесет всеобщее благоденствие, благополучие, благоустройство. Надо только в статьях, в книгах, в лекциях хорошенько растолковать мудрое учение Карла Маркса, подготовить актив-

ных работников, способных разжечь в массах классовое сознание, классовую ненависть. Это приведет к социальной революции, и тогда все будет отлично.

Я не скрывала, что мне их программа не нравится. Туган налетал на меня:

– Неужели вы воображаете, что через 30 лет в Европе еще будет существовать частная собственность? Конечно, нет! Пролетариат все это сметет. Исчезнет к тому времени и полицейское государство. Все будут свободны. Не забывайте, что люди учатся летать. При развитии авиации полицейское государство не может существовать. Воздух не знает ни границ, ни паспортов.

Эти слова мне крепко запомнились. Доживи Туган до наших дней, он увидел бы, что самые жестокие формы полицейского государства существуют именно в социалистическом государстве, о котором он мечтал, что авиация не мешает людям громоздить между народами непроходимые барьеры, но зато помогает им свирепо друг друга истреблять. Но тогда в кружке Тугана царила единодушная и прекраснодушная уверенность в творческой силе марксизма. Я была одна из немногих, дерзавших задавать критические вопросы, сомневаться. Но где мне было спорить с такими книжниками. Для них все уже было доказанным, бесспорным. Они сыпали цитатами, перебирали страницы Маркса и Энгельса, точно это были волшебные мелодии Пушкина, ссылались на французов, изредка на англичан, больше всего на нем-

цев, называли писателей, имен которых я никогда не слыжала. Где мне было за ними угнаться, перебить их догматику. Но я твердо знала, что тут что-то не так. Пыталась возражать не от знания, от здравого смысла:

– Вы хотите передать государству всю хозяйственную жизнь? Значит, будет один только работодатель, от которого уже некуда будет спастись? Это будет аракчеевщина. Я не хочу рабства. Я хочу свободы.

На меня набрасывались со всех сторон:

– Да разве то, что теперь, свобода? Где она? Даже в Англии ее нет. Где капитализм, там неизбежное рабство. Посмотрите на рабочих. Посмотрите на наших мужиков. Что делается в деревне? Мужику куренка некуда выгнать.

Когда доходило до мужика, они начинали спорить между собой.

– Насчет мужика это дело пустое, – говорил кто-нибудь из спорщиков. – Ульянов прав: чтобы установить диктатуру пролетариата, надо выварить мужика в фабричном котле, иначе он все затормозит. С этим куренком народники разве-ли сентиментальности. Пора куренка бросить. Прежде всего надо уничтожить общину. Это пережиток глухой старины. Я Воронцову прошлый раз в Вольно-экономическом обществе так и сказал. Что тут с ним сделалось...

Когда эти горожане начинали говорить о мужике, о земле, я чувствовала, что я знаю то, чего они не видят, не понимают. Знаю и не умею высказать. Но я любила бывать у Ту-

ганов, приходила на их писательские чаепития, когда еще сама не была писательницей. Их едкая критика буржуазной жизни находила во мне отклик. Я хорошо знала, за что можно, за что следует порицать тех, кто целью жизни поставил наживу, деньги, удовольствия. Я сама порвала с этим кругом и стала в сущности интеллигентным пролетарием. Когда умственная жизнь сделалась для меня не только удовольствием, но и трудовой необходимостью, маленькая столовая Туганов превратилась для меня в вечерние курсы, откуда я черпала сведения, привычку думать, отголоски жизни. Пожалуй, больше иностранной, чем русской. Но их теории, их программы меня не увлекали. Порой бывало даже досадно, что я не могу найти умственную опору в Тугане. Иногда крепко хотелось идти за кем-нибудь, с кем-нибудь, занять свое место в какой-то шеренге. Но я очень любила то тепло, которым они оба меня обдавали. Для Туганов я была свой человек. Больше всего я любила бывать у них, когда они были одни, добродушный Миша не умствовал, а весело болтал с нами обеими обо всем, что приходило в голову.

Потом налетела катастрофа. Лида умерла. Ей было 30 лет. Она была полна жизни, интересов, энергии, любви. Она занимала место, где ее способности, доброта, общественные инстинкты могли широко применяться. Умерла она от злокачественной анемии. Ей страстно хотелось иметь детей. Она несколько раз была беременна и каждый раз, на восьмом месяце, выкидывала мертвого ребенка. Доктора ее пре-

дупреждали, что ей нельзя быть беременной, что это опасно для ее жизни. Но материнский инстинкт оказался сильнее чувства самосохранения. Еще раз попыталась она стать матерью. Опять не доносила. Преждевременные роды вызвали острую анемию. Она умирала медленно, знала, что умирает, но до конца сохранила бодрость, общительность, приветливость и трогательную заботу о близких. Лежа в кровати, она продолжала принимать гостей. Про свою болезнь она старалась не говорить, заставляла навещавших ее друзей рассказывать ей о их жизни, о том, что делается в литературных кружках, о всяких житейских мелочах.

Смерть Лиды Туган-Барановской опечалила не только ее близких. Для меня это была потеря незаменимая. В моей новой, еще не налаженной жизни умная доброта Лиды была большой поддержкой. Без нее стало холоднее жить, труднее находить дорогу. Я часто забегала к Александре Аркадьевне, около нее чувствовала Лиду, ее эманацию. С Михал Ивановичем мы еще больше подружились. Он очень тосковал, стал беспомощный, растерянный, что-то бормотал, часами молчал, не мог работать. Очень было его жалко.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.